

---

**ИЗ АРХИВА ЛЕВОНА МКРТЧЯНА**  
**АНДРЕЙ БИТОВ – ГОСТЬ «ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ»**  
**(Ереванский государственный университет, май 1985 г.)\***

Андрей Битов принадлежит к числу русских писателей, с которыми Л.Мкртчян встречался относительно часто. В большинстве своем эти встречи происходили в Ереване, куда Битов приезжал регулярно: любовь к Армении и дружба с Грантом Матевосяном были стимулами его нередких приездов. Мало в каких дневниках Л.Мкртчяна (а записи в нем он вел по годам) не упоминается Битов, не говорится о двусторонних (Мкртчян - Битов) или – чаще - трехсторонних (Матевосян – Мкртчян - Битов) встречах.

Заслуживает внимания запись от 28 октября 1982 года:

«Вечером в 7 часов встреча с Ан.Битовым в Союзе художников Армении. Выступил Гр.Матевосян. Говорил, что мы стали республикой людей, которые не соответствуют занимаемым должностям и работе, которую они делают приблизительно (*իմիսիփրիսիփի*). Я сказал несколько слов о Битове, о том, что он не преуспевает, потому что плохо ориентируется в окололитературных делах, занимаясь литературой, исключительно литературой. Понимая, что задача литературы – писать правду. Я сказал о вчерашнем нашем разговоре (в машине, я подвез Андрея к «Ани» (гостиница – К.С.), сидели в машине и говорили), о том, что Битова мучают большие проблемы нашего мира.

- Биологи подсчитали, - говорил Битов, - что, если человечество начнет заниматься охотой, то, оказывается, все, что живет в лесах, может быть съедено в течение десяти дней.

Битов говорил интересно, но сложно. Я ему сказал, что надо было некоторые идеи размешивать, чтобы довести до всех.

Битов: - Я предпочитаю, чтобы тот, кто меня понимает, не скучал. Пусть это два человека. Я говорю для них. Я не хочу, чтобы они скучали за счет того, чтобы меня понимали все.

Битов сказал, что он недавно в Ереване прочел «Невский проспект» Гоголя. Очень любит Гоголя, но случилось так, что «Нев. проспект» не читал. А когда прочел, подумал вот о чем. Гоголь и сам рисовал и с художниками дружил. Но в «Нев.проспекте» (не в своих рисунках, а в слове) он превосходил живопись XX века. Например, Пикассо.

---

\* Настоящую публикацию, как и другую, помещаемую в следующем номере, журнал посвящает памяти Андрея Битова (1937-2018) – большого русского писателя и большого друга Армении, с 1997 года почетного профессора Ереванского государственного университета и почетного гражданина Еревана.

После вечера дома у Гр.Матевосяна он нашел это место в «Нев.проспекте» и прочел нам. Герой бежит за женщиной, ему вдруг показалось, что она ему улыбнулась, затем ему кажется, что дома перевернуты, что мосты рушатся... (посмотреть по тексту<sup>1</sup>)».

Здесь же Л.Мкртчян приводит несколько коротких записей о Битове:

«<...>Битов прочел стихотворение в прозе о «Словаре эпитетов русского языка», о том, что устарели эпитеты очень характерные, говорящие о потерях в жизни нашего общества<sup>2</sup>.

Битов о сюжете: - Сюжет – это как сложится, как получится. / - Нарекаци так гениален, что я его могу читать даже в переводе. / - Молчащий писатель – тоже писатель: он не врет. /- Ничего более русского, чем язык, у нас нет.

Грант сказал, что Битов лучше, чем Мандельштам написал об Армении.

Битов пишет сценарий об Иосифе Орбели...».

Об Иосифе Орбели и о своем сценарии к фильму Битов говорит и в публикуемом здесь тексте.

В мае 1985 года Битов в очередной раз приехал в Ереван. В этот приезд и состоялась посвященная ему «Литературная среда» на факультете русской филологии ЕГУ.

«Литературные среды» проводились на факультете по инициативе Л. Мкртчяна с 1979 года, с тех пор, как он стал заведующим кафедрой русской литературы. Героями «сред» становились как армянские поэты и писатели (Грант Матевосян, Амо Сагян, Ваагн Давтян...), так и русские, а также поэты и писатели других народов СССР. Были проведены «среды», посвященные Марии Петровых, Арсеню Тарковскому, Вере Звягинцевой, Осипу Мандельштаму, Михаилу Дудину, Ивану Драчу, Кайсыну Кулиеву, Чингизу Айтматову.

Выступление Битова, его ответы на вопросы слушателей были записаны на диктофон и впоследствии перенесены в машинопись. В архиве Л.Мкртчяна сохранился публикуемый ниже машинописный текст. При некоторой подчистке отразившихся в машинописи мелочей, свойственных устной речи, публикация сохраняет всю непосредственность, непринужденность, обаяние устного Слова писателя.

**КАРИНЭ СААКЯНЦ**

---

<sup>1</sup> См. от: «Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише...» в кн.: Н. Гоголь. Повести. Пьесы. Мертвые души. БВЛ. М., 1975, с.30-31.

<sup>2</sup> Стихотворение называется «Ты один мне надежда и опора...». Сейчас его легко можно найти даже в интернете, а в записях Л.Мкртчяна стихотворение сохранено в машинописном варианте (одна из цитат: «Из 28 эпитетов к слову ДОМ устарело 3: ОТЧИЙ, ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ. Причем, добропорядочный дом даже больше, чем “устар.”- он ”устар. и шутил.”»).

*Левон Мкртчян.* – Ну что, дорогие друзья, вот у нас в гостях Андрей Битов. Совсем недавно в журнале «Гутен таг» было опубликовано интервью с сотрудницей одного из крупнейших издательств ФРГ, очень умной женщиной, которая отбирает книги для издания в их издательстве на немецком языке. Этой женщине, как написано в журнале, выпала честь открытия Битова для немецких читателей. И в ответ на один из заданных ей вопросов она заявила, что считает «Пушкинский дом» Битова романом века. У нас опубликован не весь роман, только отдельные его части, а в Германии роман вышел целиком, и вот она говорит, что роман Битова «Пушкинский дом» – это роман века, в полном смысле этого слова, но она не может понять, почему об этом широко не известно. Но я думаю, что лучше написать роман века, который широко не известен, чем писать широко известные эпопеи, которые не являются ни романами года, ни романами века и вообще выпадают из времени. Сегодня я читал сценарий, написанный Битовым для фильма об Иосифе Орбели, и там есть чудная такая мысль, не знаю, кому она принадлежит, Битову или Орбели. Один из учеников Орбели принес ему плохо написанную рукопись, а Орбели ему говорит: «Ты что, думал, вдруг будет хорошо? Так вот, дорогой, если напишешь хорошо, то вдруг может оказаться, что это плохо, а плохая рукопись не может оказаться вдруг хорошей». Битов это знает и потому пишет только хорошие книги, которые вдруг могут оказаться плохими, но не оказываются. Хорошие книги Битова оказываются хорошими. А теперь я предоставлю слово Битову. Построим наш разговор так: он что-то вам скажет, а потом вы будете задавать вопросы, а он будет отвечать на эти вопросы. Битов известен еще тем, что на самые сложные вопросы дает самые простые ответы.

*Андрей Битов:* – Начинать разговор всегда очень трудно (несмотря на такую большую помощь профессора). Поскольку меня здесь больше знают благодаря «Урокам Армении», я уже ожидаю, что будет какой-нибудь вопрос о продолжении армянской темы и о том, почему я написал не только об Армении, но и о Грузии, и не является ли это изменой Армении, и о чем я написал лучше... Термин, который является чисто русским, – это «кавказская тема», в моем приложении этот термин никогда не был либо грузинским, либо армянским. Предвижу вопрос, почему у меня получилась не только Армения, почему, так сказать, я сподобился заняться и Грузией, и как получилось, что армянская тема имела продолжение. Дело в том, что написать «Уроки Армении» мне выпало по судьбе, я совершенно не ожидал, что буду это писать. Я собирался совсем в другие страны, очень хотел посетить Японию, Англию, то есть страны, в которых традиции и современность сочетаются особым образом. Страны, более похожие на модель, которые одновременно связывают древние свои корни с совре-

менным существованием, то есть у них это как бы неразрывно. Мне хотелось найти такую страну (в России есть свой опыт, который иногда заставляет скорбеть о том, что забываются традиции, о том, что теряются какие-то национальные самоощущения). Мне вдруг показалось, что Англия, знаменитая своим консерватизмом, не хочет отменять своих каких-нибудь, вроде анекдотичных, законов потому, что эти законы на самом деле оказываются осмысленными. Например, она не хочет сбрасывать королеву, которая уже давно является чисто номинальной фигурой. И вот мне казалось, что такая страна, Англия, интересно сочетает традиции с самым современным существованием в XX веке. И Япония мне мерещилась тоже, странная страна, которая закрыла себя вплоть до двадцатого века, никто о ней ничего не знал, потом внезапно она открылась, а потом после всяких исторических эскапад и неприятностей взяла и перегнала всех по электронике.

*Л. М.:* – Андрей говорит, что долго не мог купить магнитофон, потому что думал: «Что же я буду покупать этот магнитофон, если в Японии я куплю лучше?».

*А. Б.:* – А потом мне не удалось туда поехать, но и после этого я не мог купить магнитофон, потому что думал: «Там я купил бы такой магнитофон!». Однако желание посетить Англию и Японию родилось в связи с Арменией, эта ассоциация возникла потому, что Ашот Арзумян (есть у вас такой замечательный автор), который написал книгу об Орбели, как-то вовлек меня в написание сценария на основании его документальных книг и каких-то еще материалов. И я очень увлекся фигурой Орбели. И чтобы построить сценарий, я придумал такую концепцию, которая, по-видимому, не расходится с существом Орбели. Это была очень яркая личность, и все, кто его лично знал, говорят о нем как о мифической, эпической фигуре. В то же время скептические, академические умы говорят: «Да бросьте, да какой он ученый, так ли много он сделал?». Тут идет какая-то борьба: фигура, вроде, огромная, а где-то и не видно, что он сделал. И вот я во всем этом разбирался и подумал, что он был замечательный мужчина, пользовался большим успехом у женщин, что жены у него были необыкновенные и несмотря на то, что в истории они располагались как бы в перспективе, тем не менее они дружили. Все это мне показалось интересным, и я подумал, что на самом деле такой человек, вроде бы, разбросанный (то за одно берется, то за другое, причем за чужие дела берется охотнее, чем за свои, вот и любовные темы у него такие богатые), по сути дела, по природе своей однолюб. Такое умозаключение легло в основу моего сценария: его многолюбовство по женской линии было причиной его однолюбовства как ученого, ведь всю свою жизнь он любил Ани. И по-видимому, собирался посвятить этому всю жизнь. Он думал, что это его Троя, а его талант и образование (в Петербурге в ту пору было очень хорошее востоковед-

ческое образование, были великие учителя), ему вполне могли позволить на протяжении всей жизни заниматься этой проблемой, Ани ему хватило бы на всю жизнь. Но по известным нам с вами причинам на Ани стало возможно любоваться только с определенной точки на границе. И я думаю, что эту травму, чисто научную, не только национальную, он переживал на протяжении всей жизни. (Вот, кстати, и разгадка того, что я так и не купил магнитофон: зачем мне какой-то простой, если в Японии я куплю себе лучший?). То есть люди, которые долго себя ищут, прежде, чем набрести на настоящую тему, на настоящий смысл, не могут разбрасываться. А Орбели господь сразу благословил – и образование дал, и талант, и предмет дал, вроде бы, на всю жизнь, а потом предмета не стало. И вот это была настоящая драма Орбели-ученого, поэтому этот сценарий я построил в таком ключе. Вам, наверное, известен такой русский философ Федоров, который провозгласил всеобщее воскрешение, он утверждал, что мы до тех пор будем несчастны, пока не воскресим всех своих предков, пока наша наука не разовьется до того, что мы сможем восстановить весь человеческий род, в этом наша цель и смысл. И я решил это делать в литературной форме. У меня это не первый такой опыт, я начинаю со смерти, а кончаю рождением. В принципе это соответствует природе любого замысла, потому что замысел к вам приходит в готовом виде, вы знаете все про героя, и потом как-то так скучно выстраиваете его жизнь от рождения до смерти. А на самом деле вы сначала знаете результат человека, вы знаете: вот стоит памятник такому-то, он умер тогда-то и сделал то-то. Потом вы начинаете раскручивать обстоятельства его жизни (если вас они интересуют), потом вы доходите до молодости и потом узнаете, в какой семье он родился и так далее. И вот я подумал, что на самом деле то, чем мы занимаемся в прозе, – искусственная перестановка, то есть, рассказывать определенную историю надо от начала до конца, так, как она приходит тебе в голову, то есть от конца до начала. И значит, я возвел историю Орбели от конца до начала, от могилы к тем моментам, когда он молодой, красивый, смотрит через границу на Ани. Я кончил его молодостью, и я думаю, что таким образом, этим движением к своему началу герой должен быть не только живым, но и воскресающим. Обычно мы героя утомляем обстоятельствами жизни, то есть начинаем: он молодой, восторженный, красивый, потом он живет, потом испытывает всякие тяготы семьи, жизни и истории, потом становится дряхлым, потом умирает, это как-то неинтересно, невесело. А вот наоборот получается гораздо жизнерадостнее, вот человек умер, а вот он какой был, и тогда еще жальче его становится. Вот и работу о Пушкине, которую я предложил к рассмотрению, я построил таким же образом. Мы все привыкаем, например, к тому, что Пушкин к концу жизни очень был замученный, что верно: и безденежьем, и цензурой, и двором, и мундиром, – все это знают и все очень любят в этом ко-

паться, в том числе и в истории с женой, и поэтому получается, вроде, как бы закономерно, что он так устал, что пошел на этот пистолет, как бы уже начинают проецировать, что это было своего рода самоубийством, попыткой спровоцировать вонне какой-то исход. А я стал обратно, от дуэли смотреть, и до тех пор, пока не увидел его совсем сильным, полным поэтической власти, полным намерениями жить долго (а все это становится видно на протяжении одного года), тогда уже становится понятно, кого убили, гораздо больше становится понятно. А когда начинаешь последовательно просматривать последние дни и видишь, как все хуже, хуже и хуже, а потом говоришь, ну что ж, действительно, куда уж больше, невозможно вынести. Но когда идешь от обратного, то становится понятно, что действительно очень досадная история, нелепая, потому что человек жил и был в полной форме и мог бы жить и жить.

Так вот, я отошел в сторону, значит, когда мне выпала вместо Японии и Англии Армения, то, я думаю, это было благословение. С одной стороны, может, и престижнее съездить в Англию, но в Армении тоже оказалось очень неплохо, главное, что это на территории нашего отечества (в широком смысле слова). И вот в Армении мне удалось увидеть то, что я хотел увидеть. Армения в этом не была виновата, я внутренне был готов непременно увидеть страну с каким-то цельным сосуществованием прошлого и настоящего, для меня это было важно. Ну и за неделю Матевосян мне все это как раз и показал. А потом пришлось всему этому соответствовать, и наверное процесс написания был гораздо важнее процесса пребывания, пребывание было чистым оплодотворением, а вот когда пришлось обо всем этом думать, что же это значит-то, вот тогда за два года получилась эта книжка, и она как-то неожиданно понравилась очень разным людям. Разным национальностям, сейчас меня, по-моему, и алтайцы считают за своего, все понимают, что ты каким-то образом что-то понял. Понял, что есть народы, более малочисленные, чем русские, но они тоже живут, и они тоже народы, люди. Я очень благодарен этой книге, потому что она как бы написана не столько мною, сколько самим предметом, сам предмет выразил отношение к себе, но это было уже давно, уже прошло 16 или 15 лет, этой книжке уже можно паспорт давать. А во-вторых, «Уроков Армении» уже, конечно, не будет, это ясно, потому что на это должен был быть потрачен и более молодой автор, и самый первый взгляд. Только первый взгляд мог позволить так нахрапом навалиться и увидеть. Теперь я для приезжего человека, для человека другой страны знаю Армению лучше многих, но именно поэтому я ничего не могу написать, однако Армения все равно как-то достает меня, как достала сценарием об Орбели. Я не собирался, сказал, что больше ничего про Армению никогда и ни при каких обстоятельствах писать не буду, потому что между первым и настоящим знанием такая пропасть посредственного знания, которую в общем не

стоит делать достоянием публики. Но тем не менее догоняет. Буквально перед этим моим приездом сюда я снова захотел вернуться в кино, и тут мне режиссер предложил историю. Обычно все, что рассказывает режиссер, это ужасно и не годится, их творческую индивидуальность истории не соблазняют, а тут мне история очень понравилась, и как назло, она тоже происходит в Армении, так что, по-видимому, я напишу еще один армянский сценарий. Это история, произошедшая с людьми, приехавшими в Армению, но в принципе она, конечно, шире всякой армянской темы, просто я это вижу, представляю себе так, будто место действия – Армения, представляю и людей, принимающих приезжих, я себе все это представляю, наверное потому, что мне это проще делать. В принципе я думаю, что это будет такой экологический гиньоль, как я называю, это фильм ужасов на наши экологические темы, потому что мы все время читаем про воду, воздух, вот и сейчас дошли какие-то секретные сведения, что в Ереване повышенная радиация, вот весь этот ужас, о котором мы все говорим (и это правильно), о том, что все человечество болеет вопросами нашего существования в среде, он должен для людей, с моей точки зрения, действительно дойти не в форме пропаганды, а в форме ощущения. До тех пор, пока мы будем воспринимать жизнь вне себя, будет угроза того, что все погибнет прахом. Пока кто-то благородный будет говорить, что не надо ломать деревья и не надо сжигать кислород, а кто-то, не менее благородный, будет это читать и согласно кивать, все будут жить тем же чередом. В общем, в человеке все происходит на уровне настоящего испуга, человек должен действительно испугаться, а то мы, вроде, дышим и живем, а все продолжается. Все идет своим чередом и никогда не остановится, а ведь уже всему человечеству пора пяткой тормозить. В каждом регионе свои проблемы, в Армении – свои экологические проблемы, но в принципе это уже одни общие проблемы, потому что шар можно границами разгородить и границы защитить, но вы никак не защитите всю эту штуку целиком, потому что там границ нет, и там проходит кара за все нашего двадцатого века существование, а, может быть, и за более раннее. Я хотел показать, как люди, интеллигентные люди, много рассуждающие, вдруг внезапно, ни с того ни с сего попадают в экстремальные обстоятельства и, хотя эти обстоятельства чисто природные, естественные, им становится жарко, холодно, голодно и страшно. До них, наконец, космос доходит не в рассуждении, а в реальном бытии. Сочинение должно называться «Дремлют знаки Зодиака» (по строчке Заболоцкого), и происходит это в Армении, так что выходит, зря я зарекался, что больше об Армении писать не буду. Но действительно об Армении я больше писать не буду.

А вот почему же все-таки Грузия? Почему я из двух не выбрал непременно одно? Это уже, по-моему, мое личное право. И зная обе страны, не отдавая предпочтения одной из них, я имею возможность не против-

поставлять их друг другу. Может быть, это мой совершенно незаинтересованный, беспристрастный взгляд, но я знаю некоторые обстоятельства всяких исторических и идеологических стычек по поводу, там, резьбы на камне, куполов, алфавита и прочего. И при всем прочем (кто прав, кто не прав, конечно, здесь правы вы, это не имеет никакого значения), все равно я знаю, что эти две нации друг друга любят. Я это вижу и знаю. Конечно, основания для того, чтобы соревноваться, реальны, соревноваться же можно только с близким другом. Однажды я стал свидетелем (простите за грубость некоторой метафоры) самой большой пьянки, которую мне приходилось видеть за всю жизнь. Было это на стыке самого длинного в ту пору железнодорожного туннеля, который прокладывали в тайге. Работа была тяжелейшая, пройти надо было четыре километра, народ там суровый, тоже много испытывший и живший по сухому закону, потому что туда в принципе просто ничего не подвозили, но они работают, и работают здорово. Мне повезло, я случайно приехал в тот момент, когда они сошлись. Они шли с двух сторон навстречу друг другу и очень обрадовались, что им, наконец, удалось состыковаться. Сюда уже корреспонденты понаехали, – вспышки, плакаты, – словом, настоящий праздник. И тут, чтобы отпраздновать это событие, привезли вино. Я заметил, что все корреспонденты быстро-быстро смываются, и вот уже нет никаких корреспондентских машин. Я думаю, такое красивое место, давай-ка я побуду здесь денек и уеду. И вдруг через час я вижу, что никуда не уеду. Потому что, как только закончилась торжественная часть, началось то вино, которого ждали на протяжении трех-четырех месяцев. Это вино длилось очень долго, три-четыре дня я не мог оттуда выехать, только вертолетом можно было бы вылететь. Машины передвигались, как гусеничные трактора, люди были очень доброжелательны и добродушны, но очень сильно пьяны. И я помню, кто с кем и как дрался: дрался только лучший друг с лучшим другом. Потому что у всех у них до этого был печальный опыт, у некоторых были сроки, кто-то где-то сидел, кто-то расконвоирован, они знали, что если меня побить, то это плохая будет история, другое дело, если подраться с лучшим другом. И я думаю, что это очень показательно. У них действительно до этого все было мирно, но они сильно-сильно друг друга разукрасили, причем каждый лупил своего лучшего друга, и потому у этого мордобоя не было последствий...

Я знаю, что на этих территориях, названных русским Кавказом, вам жить, конечно, вместе, но Грузию я воспринимаю как Грузию и чувствую разницу между этими странами, и эта разница меня прельщает, и я люблю грузин, как других людей, чем армяне, а армян – как других людей, чем грузины. И даже моя собственная власть простирается до того, что я их объединяю своей властью в одну книгу: «Уроки Армении» и «Грузинский альбом», это моя полная воля. Я понимаю, что лучше написана все же вот



эта, а не эта, но это будет дело каждого. Я старался написать по любви и то, и другое.

*Л.М.*: – А объективно об Армении написано лучше.

*А.Б.*: – Ну вот, конечно. Но, между прочим, Грузию я писал в гораздо большем смещении с Россией. Она и ближе к России, и граничит ближе, и в характере. А Армения очень цельная, очень самостоятельная для меня страна. А Грузия для меня – это переход в Россию, я всегда в Грузии испытываю ностальгические воспоминания, настроения и поэтому грузинский план всегда чередуется с русским. Так что эта вещь и о России. Таким образом, я объединяю в единую книгу, скромно назвав ее «Кавказской пленницей». Вот я приблизительно ответил на незаданный вопрос, почему я изменил армянам, написав и о грузинах.

*– Кого вы считаете своим учителем в жизни и творчестве?*

*А.Б.*: – Ну, кого-то одного в общем трудно назвать. Если же непременно одного, то, я думаю, все-таки Пушкина. Потому что он наиболее долго сопутствует всей моей жизни и не отдаляется ни на какой срок от меня. Правда, этот учитель довольно поздно был осознан, это такое сосуществование слова и судьбы, которое я рассматриваю всю свою жизнь, но в то же время я ничего, по-видимому, толком от него не усвоил, хотелось бы, но не получается. А вообще – всю классическую литературу XIX века, особенно первой половины. То, что мне не надоедает, – это Пушкин, Гоголь и Лермонтов, а к остальным то приблизишься, то отдалишься, то вдруг скажешь: «Не надо мне Достоевского, да ну его», то Толстой надоест, потому что к ним тебя жизнь и опыт то приближают, то отдаляют, они не являются чем-то постоянным. А вот так, чтобы мне в жизни попался учитель, совсем учитель, этого, пожалуй, все-таки не было, сама жизнь и современность.

*– Кого из современных советских писателей вы больше всего любите и перечитываете?*

*А.Б.*: – Ну, здесь, Гранта Матевосяна, но это правда, без всякой уценки и без всякого преувеличения. Если же из всего советского периода, то Андрея Платонова, прозу Андрея Платонова, Зошенко люблю. Из современных советских – это, как бы то ни было, находится в постоянном соревновании ревности. Поэтому, то одно нравится, то другое, постоянно перечитывать современника, по-моему, невозможно. Вот пусть он умрет, тогда возможна будет оценка, и кстати, в России очень печальная давняя традиция – очень полюбить именно мертвого писателя. Вот Пушкин сказал: «Они любить умеют только мертвых», иногда действительно хочется, чтобы кого-нибудь при жизни приласкали.

*Л.М.:* – У нас даже такая поговорка есть, буквально: «Пойди умри (пойдешь умрешь), придешь – полюбим».

*А.Б.:* – Есть такая очень банальная фраза, но я думаю, что это действительно так: учитель – это жизнь, и как бы она ни поднаторела, а вот действительно она – учитель. С возрастом я уже могу считаться не молодым писателем, потому что тридцать лет я занимаюсь бумагой и вот, во-первых, я обнаруживаю, что все хуже ориентируюсь в оценках, мне все труднее сказать, что хорошо, что плохо, кроме, правда, того момента, когда садишься за стол. Тогда почему-то все становится ясным, и мне кажется, что писатель – это до того непростая профессия... Кроме того, что она кормит, она еще и является способом уяснения жизни, писателям жизнь абсолютно непонятна, с возрастом я начал понимать меньше, чем понимал двадцать лет назад, но зато стал понимать какие-то вещи, которые раньше казались мне расхожими, надоевшими, например, что человек живет не только своей жизнью, но он неизбежно живет и общества жизнью. Например, ровно до того, как начались некоторые трудности с мясом, я уже любил есть мясо. Я не понимаю, как это случилось. Или вот сейчас все очень волнуются насчет мер по алкоголизму, которые действительно стали настоятельно необходимыми, а я уже чувствую, что уже не так хочу пить. Шутки шутками, но что-то в этом есть: человек думает, что он очень индивидуален, самостоятелен, что он живет какой-то совершенно заоблачно-своею оригинальной самобытной жизнью, а потом обнаруживается, что, нет, он живет общей жизнью. Это чувство, что ты все время возвращаешься в общую жизнь и никуда ты со своею самовлюбленностью, гениальностью, оригинальностью особенно и не убежал, вот это ощущение ко мне приходит с возрастом. Так что я думаю, что жизнь, конечно, лучший учитель, хотя и бьет часто. Но и учит. А я думаю, что такой человек, как Пушкин, для русской нации еще и учитель, потому что он прожил жизнь. И вот полтора века эту жизнь старательно рассматривают-разгадывают: вроде бы, и шалун он большой, и то у него не так, и другое. Но он как-то так прожил свою жизнь, что она абсолютно ни в каком моменте не противна, вот какое замечательно высокое существование. Однако когда вы начинаете приближать к себе, детально разглядывать, то думаете: «Да ну его, пусть уж лучше он не будет тебе так знаком». А Пушкин выдерживает рассмотрение не только по линии своей литературы, но и с той точки зрения, какой он человек, с точки зрения абсолютной жизненности, и как человек на каждую жизненную ситуацию он реагировал абсолютно живо, импульсивно. У него как бы не было ничего готового в мозгу, он не приходил с готовой меркой, поэтому теперь очень часто для нас все, кто был рядом с ним, выглядят глупыми, тогда как при жизни глупым выглядел он среди этих людей, которые назначили себя умными. Умным можно себя назначить, это так вот начнешь давить и постепенно мягкий человек усту-

пит, скажет, да, действительно вы были правы. А Пушкин никогда не насиловал ни жизнь, ни чужой мозг. И вот я думаю, что в этом смысле он действительно учитель жизни.

*– Как отражаются негативные стороны нашей жизни в вашем творчестве?*

*А.Б.* – Они придают мне диалектическое понимание жизни, потому что не было еще никогда магнита с одним плюсом. Я даже думаю, например, как может не быть того света, если есть этот, как же не может быть того? Потому что не бывает ничего без половинки своей. Другое дело, как я отношусь к негативным сторонам жизни. Поскольку они непосредственно меня касаются, значит, вроде бы, болезненно? Но с другой стороны... Вот в молодости ко всему есть какое-то замечательно счастливое отношение: вот это хорошо, а это – плохо, потому что нам что-то не дали. Это какая-то жадность, уверенность, что все тебе должны. А когда проживаешь какой-то отрезок жизни, начинаешь задумываться: «А чего же ты сам не сделал?» И ты начинаешь отвечать за себя. И получается, что, если ты что-то не сделал, не достиг чего-то, произошло это потому, что ты надеялся не на себя, ждал, что вокруг что-то должно перемениться. Тогда как причина кроется в тебе самом.

*– Как вы думаете, будут ли проходить Пушкина через пару тысяч лет?*

*А.Б.* – Это замечательно – «пара»! Вообще «пара» бывает только сапог, а вот пара тысяч лет у нас уже прошла. Все думают, как мы вступим в XXI век, а я думаю, что с большим трудом, потому что впереди придется писать двойку, не единичку, а двойку, это очень неприятно, противно даже. Торжественно говорят: «мы встретим третье тысячелетие», а на самом деле мы празднуем 2000 лет со дня рождения Иисуса Христа. Это разные вещи. Если будет эта пара тысяч лет, то Пушкина обязательно будут читать, а если ее не будет, то и читать не будут. Например, Нарекаци проверен временем, у вас тысячу лет его читают, да еще как! А теперь и во всем мире пошла такая волна. И ничего лучше, чем Нарекаци, нет, и сразу за Евангелием идут Песнопения, и нет, почти нет разрыва. Больше того, если говорить о том, что бы мог человек сказать в божественном слове, то получается, что вслед за Божественной книгой сразу же идет Нарекаци.

Россия нагрузила Пушкина и таким, мессианским значением. Довольно любопытно то, как народным сознанием создается образ. Сейчас материалисты много занимаются вопросом реального существования Христа, появилось очень много всяких работ, в которых, говоря о росте Иисуса Христа, авторы расходятся во мнении. Точно известно, что рост Иисуса Христа был от 162 до 182 сантиметров. А Пушкин, как известно, был маленького роста, говорят, 155 сантиметров. Но я недавно перечитал свидетельство Чернецова, автора картины «Парад на Марсовом поле». Это была очень тщательная живопись.

В работе стоя воспроизведены Гнедич, Крылов, Пушкин. Изображенный на этом полотне Пушкин составляет 5 сантиметров картины. Там узнаются все. Чернецов все-таки был профессионалом, и он знал пропорции на Марсовом поле и не мог их не соблюсти. И вот, как он комментирует свою работу: «Писал Пушкина, рост – столько-то аршин», и приводит забытые нами меры. Я пересчитал по таблице, у меня получилось 167 сантиметров. Для начала XIX века это просто высокий человек, или, как писал Достоевский, «средне-высокого роста». Существует такая закономерность: пропорционально сложенный человек всегда теряет в росте. Возможно, поэтому в народном сознании закрепилось, что Пушкин был маленького роста. А может, Наталья Николаевна была выше него, и рядом с ней он казался невысоким. Следователи знают (это известное явление), что со свидетелями нельзя иметь дело. Допустим, несколько человек видели какую-то машину. Один скажет, что она была коричневого цвета, другой – белого. Один будет утверждать, что из машины вышли три вооруженных человека, другой будет настаивать, что был один безоружный. И каждый из них будет одинаково честен. А надо учесть, что Пушкин еще при жизни был предметом постоянного рассмотрения, слава пришла к нему столь же мгновенно, как к Евтушенко. Только он в двадцать лет уже был автором «Руслана и Людмилы», и к нему приходили люди просто посмотреть на Пушкина, как на зверя. Когда его сослали на юг, к нему пришли вдруг два помещика, а он, несмотря на возраст (ему было двадцать лет), серьезный был юноша, что называется, пальца в рот не клади. И он не пустил к себе этих двух почитателей, которые, между прочим, были дворянами. То есть, пришли два дворянина, говорят: «Нам бы только взглянуть». А он отвечает: «Взглянули?» и выставил их. Где бы он ни появлялся, на протяжении всей жизни, а жизнь его все усложнялась и усложнялась, все свидетели говорили о нем разное, потому что все смотрели на него с пристрастием. И к концу жизни многие смотрели с нехорошим пристрастием. Следовательно, он мог оказаться одновременно похожим на обезьяну и человеком необыкновенного обаяния. С натужным, вызывающим, неприятным смехом и смехом, равно которому никто не слышал.

Забыл, с чего это я вдруг опять про него? Пушкина, конечно, будут читать, Так вот, его нагрузили, у него уже есть многие черты Христа, разница в разночтениях. Не прекращаются споры о том, какой он был. Это же было относительно недавно, его можно было смерить, ведь нарисовать можно все, что угодно. И тем не менее, полное расхождение насчет внешности, насчет роста, характера, а значит, работает народное сознание и, в общем, оно его канонизирует. Оно неизбежно его канонизирует и придает черты вознесения: убили на дуэли или он сам погиб – это принципиальный спор. Убили, вот почему потом его увезли как-то тайком, похоронили, где-то зарыли, – вокруг возникает какая-то тайна, а тайна связана с тем, что он уже не вполне человек, а, несмотря на несвятую жизнь, – святой.

При канонизации обсуждают, курил ли, например, человек. Вот была западная попытка канонизировать Николая II как мученика, и долго спорили по этому поводу, потому что он курил и у него были до жены связи. По норме не проходит в святого. Пушкин тоже никак не проходит, потому что он, вроде, все грехи человеческие попробовал, но попробовал он их как человек, а не как убожество. Поэтому народное сознание его все-таки канонизирует, для нации он сделал больше, чем если бы был святым. А он прожил как человек и погиб для нас, выходит, для нас он погиб, обязательно. Конечно, он будет, лишь бы были эти две тысячи лет, лишь бы они были, но это уже зависит не от Пушкина. В народном сознании он настолько закрепился, что даже идиомы существуют. Говорят же: «А кто за тебя платить будет? Пушкин?». Да, эти две тысячи лет должны будем прожить мы, а не Пушкин.

– Почему Вы стали читать?

А.Б.: – *Писать* – оговорка, что называется, по Фрейду. Потому что стал читать. Я не собирался быть писателем, это очень странное занятие. В Литинституте можно наблюдать, когда люди приходят, чтобы стать писателем, и когда они приходят за советом, что надо сделать, чтобы стать писателем. Писателем стал по какому-то странному стечению обстоятельств, без всякого внутреннего намерения, сначала я стал читателем. И какие-то книги я стал читать с таким повышенным наслаждением, как будто входя в процесс их написания. Стал получать удовольствие дополнительно к обещательскому наслаждению. Одной из первых таких книг была «Записки Пиквикского клуба». И вот почти всю жизнь я читал немножко напряженнее, чем другие, потому что я так и не научился читать глазами. Я читаю, шевеля губами, по складам, поэтому я прочел необыкновенно мало, а то, что прочитал, стало необыкновенно моим. Читая же по складам, ты таинственно вникаешь в структуру. Неизвестно, как дети обучаются речи, до сих пор это божественная тайна, потому что они абсолютные гении, мы можем их обучить в той же степени, в какой можно рыбу научить говорить. Дети обучаются сами, каким-то гениальным аппаратом. У писателя какой-то немножко продленный аппарат, он обучается речи немножко дольше, по-видимому, уже читая обучается, поэтому оговорка была правильная. Я стал писать, потому что стал читателем. Вот, спрашивают мое мнение о «Железном театре» Чиладзе, я его еще не успел прочитать, но Чиладзе сейчас самая главная надежда грузинской прозы, для меня он иногда чересчур европеизирован. В одной из эпиграмм Козьмы Пруtkова есть такая фраза: «желание быть испанцем». Вот желание быть испанцем сейчас вообще поразило национальные литературы, возможно, не дает покоя пример Маркеса, который, кстати, первый нахал: на вручение Нобелевской премии он вышел без фрака. Писателями начинают овладевать нобелевские комплексы. Испания

много сейчас влияет на развитие национальных литератур Советского Союза. Писатель превосходный, конечно, но мне кажется, что писателем мирового класса можно стать, не думая об этом, просто работая. По сути дела, все-таки любой писатель – и маленький, и большой, – если он настоящий, он работает на пределе своих возможностей. А что такое предел возможностей? Это значит, выброшен весь балласт, все, что мешает работе. Недавно замечательную передачу показывали, очень грозную такую передачу, про комсомольский отряд. Года два назад они прошли на собаках от Анадыря до Мурманска и очень долго к этому готовились. Обзавелись как можно более компактным оборудованием, всем, что может стать карманным – всю технику, рации и так далее. И одежда у них была легкая, гагачья. Их снаряжали, как на Эверест, но они немножко отклонились от маршрута, и что-то у них стало не получаться. В общем экспедиция оказалась на грани срыва. Тогда они повывкидывали все это сложно найденное изысканное лабораторное оборудование, выкинули все, вплоть до рации, надели на себя то, что носят чукчи, легли в те самые нарты и стали есть ту же самую рыбу, и тогда они прошли весь маршрут. Вот я думаю, у писателей тоже есть такой момент, свой путь пройти можно тогда, когда весь балласт будет выброшен. Если в мозгу будет висеть нобелевский фрак, он будет отвлекать тебя от непосредственных задач. Если в мозгу будет сидеть (не знаю, какую армянскую фамилию назвать для примера: один армянин пишет лучше другого) какой-то состоявшийся писатель, ты все время будешь думать о нем. Каждый писатель должен освобождаться от всех комплексов мировой литературы. Прекрасно исповедуя ее, преклоняясь перед ней, он никак не должен впускать в себя комплекс мировой литературы. Когда этот комплекс бывает впущен, рождается так называемое явление провинциальности в литературе, она начинает глохнуть. Вот если обойтись без этого, то, будучи совершенно арьергардной, такая литература вдруг может оказаться впереди всего. Я думаю, что Нарекаци мало думал о других поэтах и много думал о боге.

*– Что вы думаете об учености творчества, вашего и вообще?*

*А.Б.:* – Ну, вот это спор об элитарной и неэлитарной литературе. Я думаю, что это искусственно навязанный спор и он происходит лишь отчасти. Естественные процессы, происходящие в литературе, по большей части касаются вопросов литературной политики, так же, как деление на «деревенщиков» и «горожан» и противопоставление их друг другу. Как и нападки на массовую культуру и противопоставление ее элитарной. Вообще не все могут оценить по достоинству полотно, равное «Тихому Дону», но слово-то никуда не девается, а вот когда вводится в понятие литературы бездна чужих компонентов (например, понравиться всем, понравиться и власти, и народу, и коллеге), то элитарность профессии невозможна, потому что каждый работает в меру своего таланта. И мне кажется, что ревность литературы к успехам кино, к успехам телевидения, к массовому искусству привела

к тому, что слово отчасти забыло природу своих занятий. Сейчас слово немножко возвращается к своей письменной природе: не так-то просто написать слово, не так-то просто его прочесть. Сейчас любого читателя развращает тенденция демократического подхода к литературе. Это делается для того, чтобы он был в состоянии оценить, чтобы ему было понятно. Однако это – ложная лесть читательской публике, заигрывание с ней, что приводит к деградации и литературы, и читательской публики. Публику надо воспитывать, мозгом работать должен не только писатель, некоторое напряжение мышц мозга должно происходить и у читателя. Он тоже должен немножко воспитываться на чтении литературы, и вдруг такой упрек: «Прости, пожалуйста, если это было трудно читать мне, как же будет другим?». Так что же ты на свой счет считаешь, что ты на самой вершине понимания?! Некоторая затрудненность понимания стала естественной, потому что слово хочет вернуться на пути своя, оно снова хочет стать письменным, оно хочет звучать как бы в рамках своей природы, а такое вот слово, общерасхожее, оно же отдельно должно изучаться, как массовое, как слово канцелярское и так далее. В общем литература отклонилась сильно от письменной природы и сейчас является массовой. Кстати, у наиболее тонких, сильных и по-моему талантливых писателей, чувствующих природу слова, начинает ощущаться тенденция возвращения к письменному слову. Взять, например, Гранта Матевосяна, который пишет только о вечных и, как бы сказать, самых исконных библейских делах, то есть, человеческих. Ну что он, просто об этом пишет? Разве его может читать неподготовленный читатель? И разве можно назвать его, вот в таком вульгарном смысле, народным? Именно поэтому он, слава богу, абсолютно не вульгарен. Значит, он своей прозой на примерах ясных и великих, принадлежащих народу, воспитывает, конечно, филологическое мышление. И языковое. А язык же очень обеднел. И сказать так, чтобы всем все было понятно, это значит ничего не сказать. И тогда ученость (если это опять же желание быть «испанцем» – назовем это явление условно, терминологически, – желание быть не хуже Борхеса или не хуже Маркеса), конечно, будет и провинциальной, и жалкой. Такому автору можно сказать: «Зачем ты надел не свой костюм?». Когда мастерство, талант растет вместе с человеком, вместе с его словом, тогда как же можно упрекнуть в какой-то учености? В конце концов, всегда есть право выбора: не хотите, не читайте. А есть еще и такое. Недавно мы говорили (это распространено в профессиональной среде), что уже как-то не хочется читать даже самый замечательный роман. А хочется прочитать записные книжки, хочется прочитать варианты, какие-то филологические отклонения. Это стало происходить, потому что хочется докопаться до подлинного значения слова, узнать, как оно происходило, рождалось, до его массовой обработки журналом, успехом, тиражом, стремлением автора сохраниться, его стремлением к деньгам, к славе. Через это проходили все, в этом горниле пестовался любой писатель. А потом, рассматривая некоторые великие судьбы, я

обнаружил, что все они, развиваясь, с юности шли к своему шедевру, например, к «Войне и миру» или «Идиоту». Значит, у них настолько мощный талант, что они стараются широко захватить публику, но не унизить ни глубины затронутого ими вопроса, ни развития своего слова. И только самые мощные люди могут сдержать такую атаку, устоять перед соблазном адаптировать свою работу. Когда же они производят шедевр, который объявляют своим на всю жизнь, у них появляется право распространять эту оценку на все прошлые их дела, потому что ясно, что ни строки не пропадает. И даже школьное сочинение шестилетнего Толстого будет опубликовано, значит, он заработал право на все свои вещи. И тогда душа его успокаивается, но после этого начинается то, что вульгарным потребителем называется словом «спад». А на самом деле это не спад, это естественное развитие, человек сразу уходит в духовное, сразу начинает писать народные сказки, обрабатывать Евангелие. О нем говорят: «Кончился художник, потому что задумался». Ничего подобного! Это все единое целое творчество, и если произведено такое мощное усилие, которое дало ему право на прошлого себя и на будущего себя, он развивается на свободе. В общем Достоевский, пишущий «Дневник писателя», или Толстой, пишущий свои поздние вещи, – это уже свободные писатели, они освободились в каком-то смысле от необходимости доказывать свое существование. Даже Набоков, написав «Лолиту» – девочку, которая начала его кормить, бросил кафедру, бросил учить студентов, потому что у него появились средства для жизни. И тогда он стал писать такие заоблачные вещи, которые уже никто не прочитает. Он стал писать для себя. Тут есть какой-то сложный конгломерат между аудиторией и писателем, но он расположен по какой-то кривой. Вы можете не рассматривать позднего, вы можете не рассматривать раннего, вы можете увлекаться терминами, самыми важными, но потом, когда придет возраст и если вы не покинете любовь к литературе, вы обязательно придете туда же, в хвост, и начнете с интересом вдруг читать дневники, статьи, которые все пропускают. Вот, например, у Пушкина были еще статьи, а много ли людей читало эти статьи? А какого они ума, какой содержательности! Может, вовсе и не обязательно перечитывать «Руслана и Людмилу»?

Так что в принципе я отношусь к учености хорошо. И потом, ведь общее образование это не обязательно культура. А писатель развивается в направлении культуры. Как правило, писатели не такие ученые люди, они до многого додумались, но мало знают, и поэтому в учености их трудно заподозрить. Правда, они могут начать высказывать несколько более далекие мысли. Ничего плохого в этом нет. В общем трудно уместиться между желанием прозвучать на весь мир и желанием сказать свое слово. Повидимому, выбирать тут нечего, а вот если уж получится так, что твое слово прозвучит, то тогда это будет неплохо. Видите, я как тот чукча: не читатель, а писатель.



– *Какого вы мнения о латиноамериканских писателях? И как относитесь к их стилю и к их темам?*

А.Б.: – Я уже несколько раз отходил в эту сторону и думаю, что действительно есть какое-то важное родство между нами, вот уже 60 лет осознающими себя во всеобщем существовании литературы. Часто бывает так, что от какого-то народа (к армянскому народу с его древней литературой это не относится), не имевшего древней литературы, письменности, но тем не менее со сложившейся яркой народной культурой, вдруг выступает один человек. Он становится, как правило, ярким, талантливым. И это выглядит очень пластично, но потом ты видишь, что после него литература не идет. Он как будто бы взял и выдал все. Этот небольшой народ вовсе не становится обогащенным тем, что у него появился свой первый и последний классик. Когда речь заходит о латиноамериканской литературе, надо чаще вспоминать карту, что такое Латинская Америка. Это же огромный континент, с бездной стран, с бесконечной историей. И когда Маркес говорит про себя «Да что вы думаете, что я там, какой-то магический реалист и фантаст? Да у нас такое происходит, что я – слабая тень реальности, у нас действительно такие дожди идут. А был еще один дождь, еще более длинный, но я не смог его описать». Вдруг через них, через несколько человек, главным образом через Маркеса открылся не просто маленький народ, а вскрылся целый континент. Конечно, это должно было произвести огромное впечатление. Еще бы! Магический реализм. Я думаю, что у нас, кстати, действительность не менее невероятная, но если к ней подойти один к одному, то получается, что вроде и не очень художественно, да к тому же и нельзя. А вот если бы решить это дело на высоком уровне, то тогда... Однако никто не доходит, все останавливаются. Кстати, очень много этих художественных разработок останавливалось на формуле: «мне не дают». Позволь, а кто тебе не дает? Вот сядь и напиши. И вот между этой пропастью – нельзя написать «долгой» или «катись» и тем, что это должно быть художественное произведение, – лежит огромный пласт действительности, и его очень трудно преодолеть.

– *Кто, по-вашему, самый хороший пушкиновед и как вы относитесь к роману Тынянова о Пушкине?*

А.Б.: – Тынянов, если не самый лучший пушкиновед, то самый лучший знаток этой эпохи, его роман о Грибоедове я считаю великим. А Пушкин – это какая-то неподъемная вещь, и вот если даже Тынянов не вполне мог справиться с Пушкиным в беллетризованном виде, то, я думаю, это просто невозможная задача. И никто ее не выполнит. Бывают такие сверхзадачи, которые может поставить перед собой только огромный человек. И для Тынянова это была сверхзадача, но выполнить ее оказалось невозможно, поэтому роман о Грибоедове ему удался лучше, чем роман о Пушкине, хотя Пушкину Тынянов был предан больше. Но на Грибоедова он мог посмотреть со стороны, а на

Пушкина... А вообще пушкиноведение вещь очень сложная. Его стало слишком много, оно стало слишком вольным и слишком любительским. Тогда как профессиональное пушкиноведение сделало очень много, оно дало нам академического Пушкина, опубликовав все его строчки и, в общем, по возможности прокомментировав и датировав их, вот это результат работы пушкиноведения. Результат работы любого «ведения» – это тексты, а вот их осмысление – это воля каждого, и тут начинается очень большой разницей уровней, одни более талантливы, благородны и тонки, другие менее талантливы, менее благородны и менее тонки. И этого слишком много.

Я даже ввел бы какой-то ценз на Пушкина, вроде дорогой цены на водку. У меня возникла идея: пушкинофилия и пушкиноведение дошли до такой стадии, что можно было бы на правах математического журнала выпускать какое-то издание, где будут публиковаться статьи, в которых, как в точных науках, будут анализироваться аналогии и сопоставления. То есть, уже на математическом уровне выводить какие-то формулы. А если вернуться к началу, то бедный Пушкин начинает тонуть не в море комментирования, а в море просто слов. Так, недавно я читал у одного ленинградского автора, безусловно очень преданного Пушкину, рассуждения о конце, естественно, о смерти Пушкина, о взаимоотношениях с Натальей Николаевной, с Дантесом. И этот автор, ссылаясь на свидетельства какой-то приятельницы, строит какую-то очень хитрую теорию: «Дантес ведь подарил ей браслет, а ведь он подарил ей золотой браслет с большим рубином, то есть, не дешевый. Значит, это что-то значит». Я понимаю, что человек из другого века, который знает современную цену на браслеты, совершенно не понимает, что происходит у господ. У них же между собой иначе дела происходили, а я вдруг увидел его собственное отношение к этому браслету: «Да как же он мог просто так его подарить!». Вот тогда все перемешивается, когда никто не может отринуться от эпохи, понять, что Пушкин – все равно представитель другого класса, другой эпохи. Он оставил нам бессмертные свои творения, но они написаны не нам, мы только должны как-то суметь дойти до их сути, глубины. А когда все это приобретает такое звучание: видите ли, он, бедный, сидел у себя, в своей ссылке, тоже не очень плохой, в собственной деревне, среди собственных крепостных крестьян, сидел и думал о нас, о нашем светлом будущем, получает-ся черт те что...

– *Ваше отношение к Блоку и почему роман ваш - «Пушкинский дом»?*

А.Б.: – Не знаю. Потому что я вкладывал более широкий смысл, чем учреждение, я понимал, что в каком-то смысле мы живем в Пушкинском доме, то есть, это и наследство, которое мы получили. Ведь Пушкин в своем творчестве построил какую-то Россию и дал нам слово. И вообще Пушкин был не просто литератор, а в своем роде исторический путь, он, так сказать, прочертил исторический путь. Россия пошла относительно этому пути. Безу-

ловно, хотя Пушкин предложил только культурный путь, но он, этот путь, казался и историческим, потому что после этого можно было развиваться иначе. Но, по-видимому, такими прыжками нация не передвигается, и она, я считаю, немного отошла назад, чтобы пройти все пропущенные стадии. Так что, я думаю, что Пушкин все-таки – дом и какая-то символика, это прошлое, которое нам досталось в виде дома, а мы его уже населяем и узнаем или не узнаем. Мы – тот дом, который нам достался... Это от нас зависит, опять же: «Платить кто будет? Пушкин?». Платить будем мы.

*– Что такое любовь и есть ли она?*

*А.Б.:* – Раньше была. Вы знаете, это действительно вечное. Есть формула, что бог есть любовь. И причем это вот та самая путаница подлежащего и сказуемого в русском языке, когда можно прочесть в обе стороны (мы же обычно склоняем дополнение): «Бог есть любовь», как «Велосипед разбил трамвай». Нас учили в школе, что трамвай все-таки является главнее велосипеда, потому что велосипед не мог разбить трамвай. Хотя я недавно столкнулся на «Жигулях» с КАМАЗом и повредил КАМАЗ. Как это оказалось возможно, я не знаю, но, по-видимому, тоже не слишком прочная машина. Так что, бог есть любовь. А вот в обратную сторону... В общем это вопрос о двух тысячах лет, если есть она, то будут и две тысячи лет, если ее нет, то двух тысяч лет не будет.

*– Как вы относитесь к современной молодежи?*

*А.Б.:* – Как я отношусь к современной молодежи («ведь нас часто ругают, а заслужили ли мы это?»). Вот несчастные, заругали вас совсем. Ну, я должен сказать, что поскольку у меня дочь – молодежь, и сын скоро будет молодежь, то иногда я испытываю большую тоску, но не потому, что я ее упрекаю, а потому, что я ее не понимаю. У нас, у нашего поколения тоже был свой инфантилизм, мы слишком долго проходили в молодых, а потом оказалось, что уже не молодые и нас в любой момент вдруг могут подпереть внуки. Вот так подкатят и потеснят, а с молодостью расставаться трудно: нас развратили именно этим отношением, тем, что ругали. Мое поколение ругали как молодежь и этим развратили, мы очень долго не выросли. Вот и вам пора переставать воспринимать себя как молодежь, всегда будьте молодыми, но никогда не будьте молодежью. Это какое-то слово неприятное «молодежь». Что-то такое слипшееся. А иногда мне кажется, что они просто с другой планеты, что мы друг друга действительно не понимаем. Иногда говорят, что все это – блажь, какая-то ерунда, но вот недавно читал одну статью про животных, а животные ведь тоже простые существа, и они, между прочим, любят своих детей, но у них эти дети раньше вырастают, и детям неизбежно надо начинать взрослую жизнь, то есть, начинать добывать себе корм, сопротивляться врагу и строить семью.

И вот когда двухлетним медвежатам или львьятам приходит время отделиться от родителей, между ними вдруг начинаются ужасные ссоры, что-то начинает не нравиться в родителях детям и в детях родителям. Это природа заложила, чтобы мы перестали друг другу нравиться. Так что я к молодежи так отношусь: лишь бы они нас не съели. А остальное не важно. Вот Гёте говорил «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит», а Василий Васильевич Розанов написал в «Опавших листьях» (я, кстати, очень люблю это высказывание), что принято говорить, что родители должны любить детей, а дети должны уважать родителей, тогда как должно быть как раз наоборот: родители должны уважать детей, и тогда детям ничего не останется, как любить родителей. Я сторонник такой точки зрения: надо их уважать. Правда, когда они совсем маленькие, ты к ним относишься с трепетом, но и с уважением, ты себя чувствуешь немножко меньше, чем вот эти вот, крошечные. Потом, когда переходят на права – «ты – мне, я – тебе», уважение теряется.

*– Считаете ли Вы себя уже освободившимся писателем, который не обязан нравиться?*

*А.Б.:* – Это очень хороший вопрос. В семидесятом году я написал какие-то длинные белые стихи, которых я сейчас не вспомню. В семидесятом году в какой-то момент я почувствовал себя – правильно или неправильно – очень серьезным крупным писателем, закончил большое произведение и уловил свой личный, персональный, в пустыне, кайф. Я чувствовал себя очень великим. И написал белыми стихами длинное стихотворение. Сейчас я его не помню, но помню, там были такие строки: «Я перестал стараться быть понятным, я сам стал тем, что можно понимать». Потом прошло это время, прошло это ощущение, вечно сытым не будешь: почувствовать себя хорошо один раз – это не значит, что ты и завтра будешь себя чувствовать хорошо. Не может человек, автор признанных произведений, все время ощущать себя автором этих произведений. Потому что день идет за днем, час за часом, и то состояние отдаляется, а потом и вовсе с удивлением обнаруживаешь, что кто-то тебя может прочесть свежее, и ему это может понравиться, а ты уже забыл, что это такое. И ты с удивлением узнаешь, что человек сейчас, в данный момент считает тебя автором этого произведения. Потому что он-то его только что прочел, и, допустим, ему оно понравилось сейчас, а ты его вообще не помнишь, и не помнишь, кем был, когда писал его. И к тебе обращаются как к человеку, который застрял в том произведении. Однако однажды я, конечно, ощутил себя освободившимся, мне даже хотелось не нравиться. Но человек по природе своей не свободен, ведь очень трудно заставить себя сделать нарочно что-то неприятное. Допустим, ваши отношения с каким-то человеком зашли слишком далеко и стали вас тяготить. Вам надо поссориться, но никак не удастся, ваши отношения все

ухудшаются и ухудшаются. Однако испортившиеся отношения очень трудно сделать отсутствующими. Они могут только портиться. И это длится бесконечно, и тогда начинаешь думать, дай-ка я разонравлюсь совсем. Искусственно ничего не удастся, человеку страшно трудно хотеть не нравиться. Обратите внимание, даже самый падший, совсем спившийся человек, принимая у ларька кружку пива, сразу немножко расправляется и что он начинает делать?.. Он сразу начинает учить жить. Он сразу начинает говорить: «А я вот, например, сглатываю иначе, пену я сдуваю другим способом». Значит, в человеке заложено желание нравиться и не надо с ним бороться. Потому что в общем это к злу не приводит. Ну были, конечно, великие люди, как Диоген, который был свободен до того, что мог не нравиться. Мог публично при людях совершать все, вплоть до естественных отправления. Был свободен, остался на века в сознании людей Диоген, между прочим, не только как память. Мы же знаем: Диоген – это бочка, фонарь. Это какой же великий был человек, что поразил сознание целого человечества тем, что был свободен. Однажды к нему подошел кто-то (я забыл кто, но тоже известный, но не Платон), когда тот мыл овощи под фонтаном: «Почему ты не служишь у Дионисия, тогда тебе не пришлось бы мыть овощи?». А он говорит: «Умел бы ты мыть овощи, тогда тебе не пришлось бы служить у Дионисия». Так что, таких свободных людей на пальцах можно сосчитать, и как правило, их редко узнают. И потом они чаще всего существуют в ореоле романтическом, эпатажном. Допустим, Байрон считался свободным. А что это? Это поза поэта по отношению к обществу. Лермонтов, вроде как свободный, он не хочет нравиться. Но при этом он так хочет кому-то понравиться, что этим хочет не нравиться остальным. То есть, кому-то он хочет понравиться еще больше. Я даже не особенно верю в способность человека, в его желание не нравиться. А если говорить о литературе, то я опять вернусь к тому, что между замыслом и воплощением существует настолько напряженное пространство, оно настолько поглощает все силы, что желание понравиться растворяется. Прежде всего надо суметь понравиться тому замыслу, который тебя интригует, чтобы ты для него был хорош. А если в это добавляется желание нравиться еще и другим, читателям, то это уже портит литературу. Ну а в жизни желание нравиться отнюдь не портит. Горький, например, очень любил врущих людей, они ему доставляли большое удовольствие. Он говорил: «Врет, значит, хочет жить». Врет, значит, тоже хочет нравиться.

*– Если женщина курит, пьет и носит джинсы, что остается делать мужчине, нравится ли Вам такое равноправие?*

*А.Б.:* – На время отложить все это. Вот что нам остается делать. Это такая обширная тема. Нынешний матриархат и феминизация мужчин. Вообще-то, мне кажется, что женщина просто более древнее существо, чем мужчина.

Хотя это несколько алогично, но мне кажется, что это наверняка так. Это можно объяснять и исторически, ведь есть же более древние народы и более молодые. В наш век перед угрозой глобальной катастрофы все приведено в такое состояние, что все вопросы наций и рас отодвигаются на задний план, мы все становимся человечеством вообще. Мы как-то запутались в том, что человечество – это обязательно две половины, тогда как мужчина и женщина – это два человечества. И находимся мы в состоянии постоянной борьбы и войны, и в этой войне, конечно, всегда проигрывал мужчина. В истории он, бедный, воевал, его уничтожали, женщина редко подвергалась геноциду (кроме того геноцида, который вы знаете), военному геноциду подвергался мужчина. Женщина – это какой-то вечный мотив, я думаю, что женщины – это более древние по природе существа. Они лучше сидят в этой жизни, потому что несмотря ни на что они должны сделать свое дело: свить гнездо, родить детей, а мужчины по их несчастной биологической природе как бы более мотыльковые. Я думаю, мужчина сейчас немножко скрипит, немножко шатается. Во-первых, у всякой нации женщину всегда положено возвышать, и всякому мужчине надо ее подымать. Все это воспето, и все это истинно. Но женщина не потеряла свои корни, а мужчина немножко от корня оторван. Не знаю, как все это будет развиваться, если мужчина лишился своего дела, ведь настоящий мужчина – это не тот, кто делает деньги. Настоящий мужчина – воин, он же пахарь, он же ремесленник, он завязан на настоящем труде, на производстве настоящих вещей, а сейчас мужчина мало завязан на производстве настоящих вещей. На ношении настоящих вещей. Тех же джинсов. В общем, все стало перемешиваться, мужчина, женщина... Грустно немножко, но я думаю, что все равно, наши две тысячи лет обнадёживают.

*– Как вы переносите крутые, трудные минуты жизни?*

*А.Б.:* – Вы знаете, это замечательная вещь, все это не относится ко мне, но если минута действительно крутая, то ты только потом понимаешь, что ты ее перенес. А если это так себе, так сказать, полукрутые минуты, то ты их переносишь в зависимости от того, насколько хорошо живешь. Если хорошо живешь, значит будешь жаловаться и ныть. Если плохо живешь, значит, будешь как-то брать себя в руки. Но по-настоящему крутую минуту ты осознаешь только после того, как она миновала, и это уже не повторится. То есть, в человеке есть какое-то поразительное включение на более трудную ситуацию. Вы это можете проверить по тому, как легко перенесли ужас. Ну вот, допустим, автокатастрофа, такое примитивное явление. Во время автокатастрофы ты начинаешь действовать с таким мастерством и умением, на которые ты явно не был обеспечен своим опытом. Я помню, как однажды молодой шофер полетел в пропасть, относительно, но достаточно глубокую, чтобы там все кончи-

лось. Но он очень удачно упал, и хотя перевернулся, все, кто сидел в машине, остались живы. Потом он вспомнил, что где-то читал и в кино много раз видел, что машина, падающая на крышу, от паров бензина взрывается. «Я, естественно, бросился к своей машине, чтобы она не взорвалась, и увидел, что, оказывается, в воздухе я выключил зажигание. Кто это сделал за меня, я не знаю». Это мелкий пример, но выпадают и по-настоящему тяжелые минуты. Во-первых, если рядом с вами есть кто-то, за кого вы больше болеете, чем за себя: дети, родители, братья, сестры. И в экстренной ситуации вам придется заниматься сначала ими. Это вообще невозможная, тяжелейшая ситуация. Так что, я думаю, что в нас есть сверхмеханизм и наша психика имеет огромные запасы для всех трудностей, иначе мы бы здесь не сидели. Потому что у всех нас, у любого народа есть история, столь страшная, что мы, потомки и наследники, не сидели бы сейчас, если бы наши предки не могли перенести крутые минуты. А вот там, где мы говорим, что нам плохо, я думаю, что там на самом деле не так уж и плохо. Потому что у нас хотя бы есть возможность говорить, как нам плохо. Это еще рай просто. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях пишет, как она вспоминала какие-то там тяжелые годы, как они собачились с Осипом Эмильевичем по личным вопросам, когда даже были готовы расстаться («Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных»): «Какое же это было счастье! Кажется, это все, жизнь ушла. Это смерть. Любовь. Гибель». Оказывается, это просто было счастье, кайф и очень все было легко...

– *Спасут ли поэты этот мир?*

А.Б.: – Ну, только они одни не могут, но, в общем, они этим занимаются. Тут некоторые вопросы, я просто не знаю, я очень неначитанный человек, поэтому всякие отношения к прочитанному для меня затруднительны, я с большим опозданием прочитываю новинки.

– *Ваше отношение к Анатолию Киму.*

А.Б.: – Очень хороший писатель. С Анатолием Кимом, кстати, занятая тема связана. Существование на русском языке национальных литератур. В тех случаях, когда совершенно очевидно есть древняя литература, как в Армении, в Грузии, там это было бы очень смешно. Конечно, и в них есть неплохие русскоязычные писатели, но они, как правило, родились не вместе с языком, и в таком случае это оправданно. Но в принципе, здесь надо писать по-армянски, и там надо писать по-грузински. Это не только богатый язык, не только ваш язык, но еще и сложившийся литературный язык с традициями, это все понятно. Но есть же вот, младолитературы. И там есть большие мучения, когда писатель должен выбирать между тем, чтобы начинать говорить, и языком. Поскольку это Россия, то там непременно русское образование. Знакомство с русской литературой XIX века вроде всеобщее обязательно. И

человек с трудом начинает выбирать. А большому таланту ведь надо зазвучать, зазвучать по-киргизски или по-абхазски, то есть, сделать какое-то важное дело для своего народа. Большой талант желает мировой славы. Айтматову тоже не чужды лавры Маркеса. И вот тут начинается сложность, кто кого переводит. Киргизский язык русский ли русский язык киргизский, и какие это традиции. А писатель все равно большой. Или такой же случай: Фазиль Искандер, который абсолютно русский писатель. И в то же время он абсолютно абхазский. Что касается Кима, то самые лучшие его произведения, по-моему, те, что корейские. А там, где он становится более абстрактным, более общим, мне он менее интересен, чем тогда, когда он кореец. Хотя, конечно, и в этих произведениях он сохраняется прекрасным писателем. И Ким так же, как Тимур Пулатов и Фазиль Искандер, относится к тем немногим, кто замечательно пишет по-русски, потому что, как правило, люди, сажающиеся между родным языком и языком русским, не пишут ни на том, ни на другом. Может, по материалу, по нагрузке это замечательно, но по жизни языка это становится более общим местом.

Вопросы уже исчерпал. Сейчас в университете такой напряженный период – экзамены, защиты дипломов – и я очень благодарен за то, что вы, несмотря на все эти трудности посетили меня. Спасибо вам.

**Ключевые слова:** Андрей Битов, «Уроки Армении», Грант Матевосян, Ереванский университет, выступление, писатель, жизнь, литература, мысли, суждения

**ՎԱՐԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆՑ – Լևոն Մկրտչյանի արխիվից. Անդրեյ Բիտովը «Գրական չորեքշաբթիի» հյուր (ԵՂՀ, 1985 թ., մայիս)** – Հոդվածը նվիրված է ռուս անվանի գրող, Հայաստանի մեծ բարեկամ, 1997 թ.-ից Երևանի պատվավոր քաղաքացի և Երևանի պետական համալսարանի ռուս գրականության ամբիոնի պատվավոր պրոֆեսոր Անդրեյ Բիտովին (1937-2018): Լայն ճանաչում ունի Բիտովի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը՝ «Հայաստանի դասերը», որը նա գրել է Երևան կատարած առաջին այցի տպավորությամբ. հայտնի է Հրանտ Մաթևոսյանի հետ նրա սերտ բարեկամությունը, որը սկսվեց 1960-ականներին և շարունակվեց հետագա տասնամյակներին: Բիտովը հաճախ է այցելել Հայաստան, եղել է ամենուր, հանդիպել տարբեր մարդկանց՝ ձեռք բերելով բազմաթիվ ընկերներ, ընթերցողներ: Նա բազմիցս և ամեն անգամ յուրովի է խոսել ու գրել մեր երկրի մասին, որը սիրում էր և լավ գիտեր: «Հայաստանը ներկա է ոչ միայն «Հայաստանի դասերում», այլև իմ յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ», - իր վերջին «գրույցներից» մեկում գրել է հեղինակը: Երևանի համալսարանի հետ Բիտովի կապը յուրահատուկ էր: Այն ստեղծվել էր ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկան և ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ Լևոն Մկրտչյանի նախաձեռնությամբ, որի արխիվում պահպանվել են շատ արժեքավոր ու բովանդակալից տեքստեր ֆակուլտետում Բիտովի ունեցած ելույթներից, որոնցից մեկն էլ հենց ներկայացվում է հանդեսի ներկա համարում:

**Բանալի բառեր** – Անդրեյ Բիտով, «Հայաստանի դասերը», Հրանտ Մաթևոսյան, Երևանի համալսարան, էլույթ, գրող, կյանք, գրականություն, մտքեր, դատողություններ



**KARINE SAHAKYANC – *From the Archives of Levon Mkrtchyan: Andrei Bitov as a Guest of “Literary Wednesday” (Yerevan State university, may, 1985).*** – The paper is in the memory of the first-class Russian prose-writer and true friend of Armenia Andrei Bitov (1937-2018), honorary citizen of Yerevan and honorary professor of the Yerevan State University from 1997. One of the best works of Bitov is the famous “Armenia Lessons”, inspired by his first trip to our land; it is known that he had a close friendship with Hrant Matevosyan starting from the 1960-s and throughout the following decades. Bitov visited Armenia several times, crossing all its territory, meeting many people, gaining new friends and readers. He referred to the country that he was so much fond of many times. “Armenia is present in every work of mine, not only in *Armenia Lessons*”, he confessed in one of his late “conversations”. Bitov had a special link with the Yerevan University, their contact was initiated by the Dean of the Faculty of Russian Philology Levon Mkrtchyan, whose archive preserved valuable texts from the Russian writer’s addresses to auditorium of the Faculty. One of these texts is presented in this paper.

**Key words:** *Andrei Bitov, “Armenia Lessons”, Hrant Matevosyan, Yerevan University, addresses to auditorium, writer, life, literature, thoughts, reflections*

**Поступление: 19.02.2019, рец.: 15.03.2019, принято к печати: 04.04.2019**